



«Ты возьми цветок с моей груди,  
Вынь второй цветок из черных кос моих,  
Теперь прощай — над нами ночь ясна,  
И звездам радостно смотреть, как ты уходишь».

*«Песни с берегов Дымбовицы».*



# Часть первая

## ВЕСНА

### I

Он шел по Холиуэлл-стрит ранним июньским вечером, сняв студенческую шапочку с темной густоволосой головы и приспустив с плеч короткую мантию. Юноша невысокого роста и такого сложения, словно в нем смешались две совершенно разные породы: одна — коренастая, другая — изящная, нервная. Лицо его также представляло собой редкостное сочетание различных качеств, ибо черты его были твердые, а выражение мягкое, чуть капризное. Его глаза — темно-серые, щедро освещенные изнутри и осененные очень черными ресницами, — умели глядеть куда-то вдаль, за пределы зримого, и оттого вид у него подчас бывал слегка отсутствующий; зато улыбка была неожиданно быстрая, обнажавшая вдруг белые, как у негра, зубы и зажигающая лицо удивительной живостью. Встречные посматривали на него, ибо в 1880 году еще не принято было студентам ходить без шапочек. Особенно привлекал он внимание женщин; они видели, что он их вовсе

не замечает, а просто идет, глядя вдаль, занятый какими-то своими мыслями.

Знал ли он сам, о чем думает? Мог ли он ответить на это определенно в ту пору своей жизни, когда повсюду, и в особенности за пределами сегодняшнего кругозора, было столько интересного и удивительного — столько всего он должен повидать и сделать, когда расстанется с Оксфордом, где к нему «ужасно добры» и вообще все, конечно, «милые люди», но не слишком интересные.

Он шел к своему профессору, чтобы прочесть ему реферат об Оливере Кромвелле; но, задержавшись под старой стеной, некогда замыкавшей в себе весь город, он вынул что-то из кармана. Это было живое существо, маленькая черепаха. Он с полным самозабвением смотрел, как она осторожно, вопросительно поводит плоской головкой, и не переставал ощупывать ее своими короткими, тупыми пальцами, словно хотел яснее представить себе, как она устроена. Ну и твердая же у нее спина! Неудивительно, что старику Эсхилу стало слегка не по себе, когда вот такая свалилась ему на голову!\* У древних она служила основанием, на котором покоился мир — мир в виде пагоды, состоящей из людей, животных и деревьев, вроде той, что вырезана на дверцах китайского шкафчика в гостиной у его опекуна. Китайцы здорово делали животных и деревья, точно они верили, что у всех предметов есть душа и они существуют вовсе не для того, чтобы люди их ели, запрягали или строили из них себе дома. Эх, если б только в художественной школе ему позволили лепить «по-сво-

---

\* Существует легенда, что древнегреческий трагик Эсхил умер от того, что орел уронил ему на голову черепаху.

ему», а не заставляли без конца копировать и копировать! Честное слово, они словно опасаются, как бы человек не придумал что-нибудь свое.

Он поднес черепашку к жилету и придерживал, а она ползла вверх, но потом он вдруг заметил, что она жует угол его реферата, и пришлось положить ее обратно в карман. Что бы сказал его профессор, если бы узнал, кто сидит у него в кармане? Чуть склонил бы голову набок и произнес: «Есть многое на свете, друг мой Леннан, что и не снилось мудрости моей»\*. Это верно, немало существует такого, о чем старому Стормеру и не снилось; он, кажется, страшно боится всего мало-мальски необычного и всегда подсмеивается над тобой из страха, как бы ты не стал смеяться над ним. В Оксфорде много таких. И это очень глупо. Ведь если бояться людского смеха, то ничего не добьешься! Вот миссис Стормер, она не такая; она совершает поступки... просто потому, что ей так хочется. Но ведь она не англичанка, она австрийка, и потом она настолько моложе старого Стормера.

И, оказавшись у дверей профессорского дома, он позвонил...

## II

Когда Анна Стормер вошла в кабинет, ее муж стоял у окна, чуть склонив набок голову, — высокий, длинноногий, в мягком шерстяном костюме с отложным

---

\* Перефразированная реплика Гамлета.

воротничком (что было редкостью в те дни) и синем шелковом галстуке, ею связанном, который он носил пропущенным через кольцо. Он что-то напевал, постукивая в такт по стеклу холеными ногтями. Хоть он и славился трудолюбием, она ни разу не застала его за работой в этом доме, который был выбран им за то, что отстоял более чем на милю от колледжа, где обитали «наши милые юные шуты», как он именовал своих учеников.

Он не обернулся — разумеется, в его привычки входило тратить свое внимание лишь на самое существенное, — но она знала, что он слышал, как она вошла. Она приблизилась к стоявшему у окна креслу и села. Тогда он обернулся и произнес: «О!»

То было почти выражение восторга, для него отнюдь не обычное, ибо он никогда ничем не восхищался, если не считать избранных мест из произведений древних авторов. Но она знала, что сейчас она особенно хороша: солнечный луч освещает ее прекрасную фигуру, играет на блестящих каштановых волосах и искрится в ее льдисто-зеленых глубоко посаженных глазах, прикрытых черными ресницами. Для нее очень много значило, что она по-прежнему так красива. Сознать, что твой вид оскорбляет изысканный вкус супруга, — это было бы уж слишком. И без того скулы у нее, на его взгляд, чересчур выступали, символизируя чуждые ему черты ее характера, — ту безоглядность, страстность, то отсутствие какой-то английской ровности, что так его всегда раздражали.

— Харролд, — она так и не отучилась от раскатистого «р», — я хочу в этом году поехать в горы.

Горы! Она не видела их после того сезона в Сан-Мартино-ди-Кастроцца двенадцать лет назад, который кончился тогда их женитьбой.

— Ностальгия?

— Я не знаю, что это значит, — я соскучилась по родным местам. Мы поедем?

— Отчего же, если тебе хочется. Только что до меня, то, пожалуйста, без восхождений на Чимоне-делла-Пала.

Она поняла, что он хотел сказать: без романтики. А как великолепен он был в тот далекий день, когда они подымались на эту вершину! Она почти боготворила его. Как она была слепа! Как заблуждалась! Неужели это тот же человек стоит сейчас перед нею — с ясными, неверящими глазами, уже с сединой в волосах? Да, с романтикой покончено! Она сидела молча и глядела в окно на улицу — на ту старинную улочку, куда ей глядеть теперь дни и ночи. Кто-то прошел за окном, поднялся на крыльцо и позвонил. Она тихо сказала:

— Марк Леннан пришел.

Она почувствовала, как взгляд мужа мгновение задержался на ней, — это он отвернулся от окна и пробормотал: «Ах, шут-ангелочек!» Замерев, она ждала, чтобы открылась дверь. Вот он. Милая темная голова и эта мягкая, застенчивая серьезность. И реферат в руках.

— Ну, Леннан, как поживает старик Оливер? Гений лицемерия, а? Придвигайте стул; сейчас мы с ним живо покончим!

Она неподвижно сидела у окна и разглядывала пару за столом — юноша читал своим удивительным, бар-

хатистым басом, а ее муж сидел, откинувшись, составив концами пальцы обеих рук, слегка наклонив набок голову и улыбаясь своей слабой, сардонической улыбкой, которая никогда не передавалась глазам. Да он дремлет, он заснул! А мальчик, не замечая, продолжает читать. Он дошел до конца и только тут поднял голову. Какие у него глаза! Другой бы посмеялся, но он только смутился. Она услышала, как он тихо произнес:

— Ради Бога, простите, сэръ.

— А, Леннан, каюсь, я попался! По правде сказать, этот семестр меня совсем доконал. Мы собираемся на лето в горы. Бывали вы в горах? Что? Никогда?! Вам надо поехать с нами. Что ты на это скажешь, Анна? Как по-твоему, разве не должен этот молодой человек поехать с нами?

Она встала и пристально смотрела на них. Уж не ослышалась ли она?

Потом ответила очень серьезно:

— Да, по-моему, ему надо поехать.

— И прекрасно; вот пусть он и лазит на Чимонеделла-Пала.

### III

Когда юноша простился и ушел, она задержалась у порога в полосе солнечного света, падавшей через открытую дверь, и стояла, прижав ладони к горящим щекам. Потом захлопнула дверь и припала лбом к окну,

невидящими глазами глядя на улицу. Сердце у нее учащенно билось; она еще и еще раз переживала то, что сейчас произошло. Все это значило гораздо больше, чем казалось со стороны. Правда, тоска по родине бывала у нее и раньше, особенно весной, но в этот раз совсем иное чувство заставило ее сказать мужу: «Я хочу поехать в горы!»

Двенадцать лет она тосковала по горам, но не просилась в горы; в этом году она попросилась в горы, но она уже по ним не тосковала. Наоборот, она пришла умолять мужа о поездке, потому что вдруг с недоумением осознала, что ей не хочется уезжать из Англии, и поняла причину своего нежелания. Но почему же тогда, решившись бежать от мыслей об этом юноше, она ответила: «Да, по-моему, ему надо поехать»? Нужды нет, ведь она всю жизнь разрывалась между разумом и порывом — странная, напряженная, мучительная двойственная жизнь! Сколько времени прошло с того дня, как он впервые появился у них в доме, молчаливый и застенчивый, с этой внезапной улыбкой, когда он весь словно озаряется внутренним светом? В тот день она сказала мужу после его ухода: «Да он просто ангел!» Еще и года нет. Ведь это было в октябре, в самом начале осеннего семестра. Он так отличался от всех студентов — он, конечно, был не гений с растрепанными волосами, в мешковатой одежде и острый на язык, — нет, но просто в нем есть что-то... что-то особенное; просто потому, что он — это он; потому что ей страстно хочется сжать в ладонях его голову и поцеловать. Она так ясно помнит тот день, когда это желание пришло к ней впервые. Она угощала его чаем, это было

в самом начале весеннего семестра. Он сидел, гладил ее кошку, которая всегда сама лезла к нему на колени, и рассказывал ей, что хочет стать скульптором, а его опекун против, так что приходится все отложить до совершеннолетия. На столе стояла лампа под розовым абажуром; он пришел к ним после гонок на реке — а день был очень холодный, и его обычно бледное лицо пылало. И вдруг он улыбнулся и сказал: «Очень неприятно ждать, правда?» Вот тогда-то она чуть было не протянула к нему руки и не прижалась губами к его лбу. Она тогда думала, что поцелуй, о котором она мечтает, — материнский, что ей больше всего хотелось бы быть его матерью. Она и в самом деле годилась ему в матери, ведь могла же она выйти замуж в шестнадцать лет. Но теперь она уже давно поняла, что ей хочется поцеловать его не в лоб, а в губы. Да, он вошел в ее жизнь, он точно огонь очага в холодном, непроветренном доме; трудно даже представить себе, как она могла все эти годы жить без него. Она так скучала без него все полтора месяца пасхальных каникул и так радовалась его трем письмецам, полуробким, полудоверчивым; покрывала их поцелуями и носила за корсажем! И в ответ писала ему длинные, добропорядочные послания, по языку которых все еще было заметно, что она иностранка. Она ничем не выдавала ему свои чувства; даже мысль, что он мог бы догадаться, страшила ее. Начался летний семестр, и думы о нем заполнили всю ее жизнь. Быть может, если бы не умер десять лет назад ее новорожденный ребенок, если бы его жестокая гибель — после мук, которые она приняла, — не убила бы в ней навсегда желание иметь детей, если бы она не

жила все эти годы с сознанием, что ей уже нечего ждать тепла, что любовь для нее позади, если бы ее могла увлечь и захватить жизнь в этом красивейшем старинном городе, — тогда, быть может, у нее нашлись бы силы, чтобы подавить пробуждающееся чувство. Но ей нечем было защититься. Жизнь в ней была ключом, и она чувствовала, как все это пропадает даром, ни за что. Подчас ее совсем захлестывала страстная потребность жить — дать выход своим жизненным силам. Сколько одиноких прогулок совершила она за эти годы, стремясь раствориться в природе, — торопливо шла, почти бежала через безлюдные рощи и поля, ища спасения от мыслей о напрасно загубленной жизни, пытаюсь вернуть себе настроения своей юности, когда перед нею открывался весь мир. Для чего так великолепна ее фигура, так блестят ее темные волосы, а глаза лучатся светом! Она перепробовала много разных занятий. Благотворительность, музыку, любительский театр, охоту; бралась, потом бросала; потом с увлечением бралась снова. Раньше это помогало. Но в этом году не помогло... И в одно воскресное утро, когда она возвращалась с исповеди, так и не дойдя до исповедальни, она отважилась взглянуть истине в глаза. То, что с ней происходит, дурно. Она должна убить в себе это чувство, должна бежать от этого юноши, к которому ее так влечет. Надо действовать немедленно, иначе ее захватит и понесет. И тут же возникла мысль: ну так что ж? Жизнь дана, чтобы жить, а не тупо дремать посреди этого культурного заповедника, где старость у людей в крови! Жизнь дана для любви, для счастья! А ей через месяц будет уже тридцать шесть лет. Ей казалось, что